

Глава XXX

Срок аренды кабинета истекал, и из намёков привратника я сделала вывод, что продлить её не собираются. Мне было безразлично — я решила закончить с массажем. Одна с этой работой я не справлялась, а использовать наёмный труд мне не хотелось. Более того, Mother Earth отнимал всё моё время. Друзья, которые помогли открыть массажный салон, возмущались, что я сдаюсь именно в тот момент, когда дела пошли в гору. Я выплатила долги, и у меня осталась даже небольшая прибыль. Но опыт, который я приобрела, и люди, которых я встретила, значили гораздо больше, чем материальная выгода. Теперь я могу быть свободна, свободна от маскировки и уловок. Было ещё кое-что, от чего мне нужно было освободиться. Это были отношения с Дэном.

Слишком большая разница в возрасте, мировоззрении и мышлении постепенно ослабили нашу связь. Дэн был ординарным американским студентом. Ни в идеях, ни во взглядах на общественные ценности мы не имели почти ничего общего. Нашей жизни не хватало вдохновения, совпадения целей и замыслов. Время шло, и становилось всё более очевидно, что наши отношения больше не могут продолжаться. Всё кончилось внезапно однажды вечером, когда я была окончательно разбита постоянным недопониманием. Когда я вернулась домой на следующий день, Дэна уже не было, и ещё одна светлая мечта осталась в прошлом.

Я была свободна и могла полностью посвятить себя Mother Earth. Но ещё более важным было грядущее событие, которого я ждала четырнадцать лет — освобождение Саши.

Наконец наступил май 1906 года. Всего две недели осталось до Сашиного возрождения. Беспокойство нарастало, меня одолевали волнующие мысли. Каково это — снова стоять перед Сашей, рука в руке, и никаких тюремщиков между нами? Четырнадцать лет — долгий срок, и наши жизни текли разными руслами. Что, если они разошлись слишком далеко и не смогут снова объединиться в одну жизнь и товарищество, как это было до разлуки? При мысли о такой возможности меня тошнило от страха. Я пыталась себя занять, чтобы успокоить трепещущее сердце: Mother Earth, сборы в короткое турне, подготовка к лекциям. Я хотела быть первой, кого Саша встретит у тюремных ворот, шагнув на свободу, но пришло письмо, в котором он предлагал увидеться в Детройте. Невыносимо будет встретить меня в присутствии сыщиков, репортёров и зевак, писал он. Я была горько разочарована необходимостью ждать дольше, чем планировалось, но знала, что его просьба обоснована.

Карл Нольд с подругой жили в Детройте. Они занимали небольшой дом, окружённый садом, вдали от шума и суеты города. Там Саша мог бы спокойно отдохнуть. Карл поделился с ним судьбу заключённого в стенах той же тюрьмы и оставался Сашиным верным другом. Справедливо, если он будет рядом со мной в этот великий момент.

Буффало, Торонто, Монреаль, митинги, люди — я плыла сквозь них как в тумане, с одной лишь мыслью о 18 мая, дате Сашиного освобождения. Я приехала в Детройт в тот день рано утром, представляя, как Саша меряет камеру нетерпеливыми шагами в ожидании освобождения. Карл встретил меня на вокзале. Он сообщил, что организовал для Саши приём и митинг. Я слушала рассеянno, поглядывая на часы, отсчитывающие последние минуты заключения моего мальчика. В полдень пришла телеграмма от друзей из Питтсбурга: «Свободен и едет в Детройт». Карл выхватил телеграмму, начал возбуждённо размахивать ей и кричать: «Он свободен! Свободен!» Я не могла разделить его радость; меня терзали сомнения. Только бы вечер наступил, и я увидела бы Сашу собственными глазами!

Напряжённая, я стояла на вокзале, прислонившись к столбу. Карл с подружкой беседовали неподалёку. Их голоса звучали приглушённо, а силуэты были размыты и тусклы. Из глубин памяти внезапно поднялось прошлое. Вокзал Балтимора и Огайо в Нью-Йорке, 10 июля 1892 года, я стою на подножке уходящего поезда, вцепившись в Сашу. Поезд набирает ход, я спрыгиваю и бегу следом, простирая руки и отчаянно крича: «Саша! Саша!»

Кто-то тянул меня за рукав, голоса звали: «Эмма! Эмма! Поезд пришёл. Скорее, к выходу!» Карл с девушкой побежали вперёд, я хотела последовать за ними, но мои ноги будто онемели. Я остановилась, вцепившись в столб, сердце бешено колотилось.

Друзья вернулись, между ними нетвёрдой походкой шёл незнакомец. «Вот и Саша!» — воскликнул Карл. «Разве этот незнакомец — Саша?» — удивилась я. Его лицо было мертвенно бледным, глаза прикрыты огромными неуклюжими очками, шляпа была велика, слишком глубоко сидела на голове — он выглядел жалко и нелепо. Я встретилась с ним взглядом и увидела протянутую мне руку. Меня охватили ужас и жалость, непреодолимое желание прижать Сашу к груди. Я подарила ему розы, которые принесла с собой, обняла и поцеловала. Слова любви и страсти горели у меня на губах, но так и остались невысказанными. Я взяла его за руку, и мы шли в молчании.

Мы прибыли в ресторан, Карл заказал еду и вино. Мы пили за Сашу. Он сидел в шляпе и молчал, в глазах застыло затравленное выражение. Раз или два он улыбнулся — это был болезненный, безрадостный оскал. Я сняла с него шляпу, он испуганно отпрянул, воровато оглянулся вокруг и молча надел её снова. Его голова была обрита! Слёзы навернулись на глаза; прощальное оскорбление после стольких лет жестокости: они обрили ему голову и нарядили в эти ужасные вещи, чтобы на него глазел весь мир. Я сдержала слёзы и притворилась весёлой, сжимая его бледную прозрачную руку.

Наконец мы с Сашей остались одни в отдельной комнате дома у Карла. Мы смотрели друг на друга, как дети, брошенные в темноте. Мы сидели рядом, держась за руки, я болтала о пустяках, не в силах выразить то, что переполняло моё сердце. Наконец, полностью вымотанная, я поплелась в постель. Саша, свернувшись калачиком, прилёг на диван. В комнате было темно, лишь огонёк Сашиной сигареты то и дело пронзал черноту. Мне было душно и зябко одновременно. Вдруг я услышала, как Саша на ощупь приблизился и прикоснулся ко мне дрожащими руками.

Мы лежали, прижавшись друг к другу, погружившись каждый в свои мысли, лишь наши сердца бились в ночной тишине. Саша хотел что-то сказать, осёкся, тяжело задышал и, наконец, разразился бурными рыданиями, которые тщетно пытался сдержать. Я решила не трогать его, надеясь, что истерзанный дух найдёт утешение в буре эмоций, потрясшей его до основания. Наконец Саша успокоился и сказал, что стены давят на него и он хотел бы пройти. Я услышала, как за ним закрылась дверь, и осталась наедине со своим горем. Я осознала с ужасающей ясностью, что борьба за освобождение Саши только началась.

Проснувшись я с чувством, что Саше нужно уехать одному в какое-нибудь спокойное место. Но митинги и приёмы уже были назначены в Детройте, Чикаго, Милуоки и Нью-Йорке; товарищи хотели встретиться с ним, увидеть его снова. Молодёжь особенно стремилась лицезреть человека, заживо похороненного на четырнадцать лет из-за покушения. Я постоянно волновалась за Сашу, но понимала, что он не может сбежать, пока не завершатся все запланированные мероприятия. После он сможет отправиться на маленькую ферму и там постараться вернуться к жизни.

Детройтские газеты были полны сплетён о нашем визите к Карлу, и, прежде чем мы покинули город, нас с Александром Беркманом поженили и отправили в медовый месяц. В Чикаго журналисты преследовали нас повсюду, а митинги проходили под усиленным контролем полиции. Приём в Гранд Централ Палас в Нью-Йорке своим размахом и чрезмерным воодушевлением публики погрузил Сашу в уныние ещё больше, чем остальные. Но на этом страдания закончились, и мы уехали на маленькую ферму в Оссининг. Саше там понравилось; он полюбил нетронутую природу, уединённость и тишину. А во мне росла надежда на его освобождение от призраков тюрьмы.

Проголодав столько лет, теперь Саша ел очень жадно. Невероятно, какое количество еды Саша мог поглотить, особенно любимых еврейских лакомств, которых он был так долго лишён. Ему по силам было заесть плотный обед десятком blintzes (еврейских блинов с сыром или мясом) или огромным яблочным пирогом. Я варила и пекла, радуясь его наслаждению едой. Большинство друзей преклонялись перед моим кулинарным искусством, но ещё никто не хваливал меня так, как бедный изголодавшийся Саша.

Наша деревенская идиллия была недолгой. Тёмные тени прошлого вернулись за своей жертвой, гоня Сашу из дома, лишая его покоя. Он бродил по лесам или часами лежал, распластавшись по земле, тихий и безответный.

Саша признался мне, что деревенский покой только усилил его внутреннее смятение. Он не может этого выносить и хочет вернуться в город. Он должен найти работу, чтобы отвлечься, или сойдёт с ума. И ему нужно зарабатывать на жизнь, чтобы не нуждаться в материальной помощи. Он уже отказался принять пятьсот долларов, собранных для него товарищами, и поделил деньги между несколькими анархистскими изданиями. Его мучило ещё кое-что: мысль о несчастных товарищах, с которыми он провёл в тюрьме столько лет. Как мог он наслаждаться покоем и уютом, зная, что они этого лишены? Он пообещал себе стать их глашатаем и выступать на свободе против ужасов тюрьмы. А пока он не делает ничего, только ест, спит и плывёт по течению. «Так не может продолжаться», — сказал он.

Я понимала его мучения, у меня сердце кровью обливалось из-за дорогого человека, так привязанного к прошлому. Мы вернулись на 13-ю Восточную улицу, 210, и там борьба стала ещё ожесточённое — борьба за возвращение к жизни. В своём измождённом состоянии Саша не мог найти работу, а моё окружение казалось ему странным и чуждым. Проходили недели и месяцы, и его страдания возрастали. Когда мы оставались одни или в компании Макса, Саше дышалось немного легче, нравилась ему и заходившая к нам юная соратница Бекки Эдельсон. Остальные друзья его раздражали и расстраивали, он не мог выносить их присутствия и всегда находил повод уйти. Обычно он возвращался засветло. Я слышала, как усталым шагом он входит в комнату, как в одежде падает на кровать и проваливается в тревожный сон, прерываемый кошмарами о тюремной жизни. Часто он просыпался с воплями, от которых кровь стыла в жилах. Ночь напролёт я металась по комнате в сердечной тоске, ломая голову, как помочь Саше снова вернуться к нормальному существованию.

И тут меня осенило: лекционное турне — вот что способно переломить ситуацию, помочь Саше освободить душу от бремени воспоминаний о тюрьме и её жестокости и, возможно, адаптироваться к жизни самостоятельно, без моей помощи. Это может вернуть ему прежнюю веру в себя. Я уговорила Сашу связаться с нашими товарищами в других городах. Вскоре он получил множество предложений читать лекции. Перемены к лучшему произошли практически сразу; Саша стал менее беспокойным и подавленным, охотнее общался с друзьями, которые нас навещали, и даже проявил интерес к подготовке октябрьского номера Mother Earth.

В этом номере планировалась публикация статей о Леоне Чолгоше в честь пятой годовщины со дня его смерти. Саша и Макс поддержали идею памятного выпуска, однако остальные товарищи были против, так как боялись, что любая информация о Чолгоше повредит и делу, и журналу. Они даже угрожали лишить журнал финансирования. Начиная выпускать Mother Earth, я обещала себе не позволять ни группам, ни отдельным людям диктовать условия; оппозиция придала мне ещё большей решимости исполнить задуманное и посвятить октябрьский номер Чолгошу.

Как только журнал вышел из типографии, Саша отправился в турне. Первыми городами на его пути были Олбани, Сиракьюс и Питтсбург. Мне не нравилось, что Саша возвращается в этот ужасный город так скоро, так как согласно закону Пенсильвании о смягчении наказания Саша оставался под юрисдикцией властей этого штата в течение восьми лет; они имели право арестовать Сашу в любой момент за малейшее правонарушение и отправить обратно в тюрьму отбывать полный срок в двадцать два года. Однако Саша настаивал на лекции в Питтсбурге, и я лелеяла слабую надежду, что выступление в этом городе избавит его от тюремного кошмара. Я испытала облегчение, получив телеграмму от Саши, в которой он сообщал, что собрание в Питтсбурге прошло успешно, и всё было хорошо.

Следующей остановкой был Кливленд. Через день после первого митинга Саши в этом городе я получила телеграмму гласящую, что он ушёл из дома товарища, у которого остановился, и до сих пор не вернулся. Меня это не сильно встревожило, я знала, что бедный мальчик избегал контактов с людьми. Вероятно, он пошёл в гостиницу, чтобы побыть в одиночестве, решила я, и наверняка появится вечером на лекции. Но вторая

телеграмма в полночь сообщила, что Саша не пришёл на митинг и товарищи волнуются. Я разволновалась тоже и телеграфировала Карлу в Детройт, следующий город на пути Саши. Ответа в тот же день ждать не приходилось, а ночь, полная мрачных предчувствий, казалось, никогда не кончится. Утренние газеты вышли с кричащими заголовками об «исчезновении Александра Беркмана, недавно освобождённого анархиста».

Шок деморализовал меня полностью. Сперва я была слишком подавлена, чтобы строить какие-то предположения. Наконец появились две версии: Сашу похитили власти Питтсбурга или — что более вероятно и страшно — он мог покончить с собой. Я была в ужасе от того, что не смогла отговорить Сашу от поездки в Питтсбург. И всё же, несмотря на опасности, которые его там подстерегали, самая мрачная мысль утвердилась в моём сознании — мысль о суициде. Саша находился в ужасной депрессии, он неоднократно повторял, что не хочет жить, что тюрьма сделала его непригодным к существованию. Моё сердце восставало против жестоких сил, забиравших Сашу у меня в тот момент, когда он только вернулся. Я горько сожалела о том, что предложила идею лекционного турне.

Три дня и три ночи мы в Нью-Йорке и наши люди в каждом городе искали Сашу по полицейским участкам, больницам и моргам, но безрезультатно. Кропоткин и другие европейские анархисты прислали телеграммы с вопросами о нём, толпы людей осаждали мою квартиру. Я сходила с ума от неизвестности, и всё же было невыносимо думать, что Саша наложил на себя руки.

Я должна была поехать в Элизабет, штат Нью-Джерси, выступать на митинге. Опыт общественной жизни научил меня не выставлять радость или горе на обозрение базарных зевак. Но как скрыть то, что занимало все мои мысли? Однако я пообещала и должна была ехать. Макс отправился со мной. Он уже купил билеты, и мы почти добрались до платформы. Вдруг меня охватило ощущение надвигающейся беды. Я остановилась как вкопанная. «Макс! Макс! — воскликнула я. — Я не могу уехать! Что-то тянет меня обратно домой!» Он понял и убедил меня вернуться. Он обещал объяснить моё отсутствие и выступить вместо меня. Торопливо пожав его руку, я поспешила обратно, чтобы успеть на первый паром до Нью-Йорка.

На 13-й улице возле 3-й авеню я увидела Бекки, бегущую навстречу, возбуждённо размахивая жёлтым листом бумаги. «Я искала тебя повсюду! — кричала она. — Саша жив! Он ждёт тебя на телеграфе на 14-й улице!» У меня чуть сердце не выпрыгнуло. Я выхватила у неё листок. Послание гласило: «Приходи. Я жду тебя здесь». Я бросилась со всех ног на 14-ю улицу. Добежав до телеграфа, я наткнулась на Сашу. Он стоял, прислонившись к стене, рядом с ним — маленький саквояж.

«Саша! — закричала я. — Мой дорогой, наконец-то!» Услышав мой голос, он встrepенулcя, будто очнулся от страшного сна. Его губы беззвучно шевелились. Лишь его глаза выражали страдание и отчаяние. Я взяла его под руку и повела прочь, он дрожал как в лихорадке. Мы почти дошли до 13-й Восточной улицы, 210, как он внезапно закричал: «Только не туда! Не могу видеть никого из твоей квартиры!» На минуту я растерялась, не зная, что предпринять; затем остановила извозчика и велела отвезти нас в Парк Авеню ОТЕЛЬ.

Было время ужина, и вестибюль был полон гостей. Все были одеты в вечерние платья; голоса и смех перемежались звуками музыки из обеденного зала. Когда мы остались в комнате вдвоём, у Саши закружилась голова, я помогла ему добраться до дивана, на который он рухнул без сил. Я бросилась к телефону и заказала виски и горячий бульон. Саша жадно пил, и было очевидно, что с каждым глотком ему становилось лучше. Он уже три дня не ел и не снимал с себя одежду. Я приготовила ванну. Помогая Саше раздеться, я вдруг наткнулась на какой-то металлический предмет. Это был револьвер, который он пытался спрятать в заднем кармане брюк.

После ванны и ещё одной порции горячего напитка Саша заговорил. Он рассказал, что возненавидел это турне, не успев покинуть Нью-Йорк. Приближение каждой лекции ввергало его в панику и вызывало непреодолимое желание сбежать. Митинги посещались слабо, им не хватало воодушевления. Дома товарищей, у которых он ночевал, были переполнены, там не было для него отдельного угла. Ещё сильнее ужасали непрерывный поток людей и бесконечные вопросы. И всё же он продолжал турне. Питтсбург немного облегчил его депрессию; орды полицейских, сыщиков и тюремщиков подняли его боевой дух и вывели из апатии. Но Кливленд был ужасен с первой минуты. Сашу никто не встретил на станции, и он провёл день в изнурительных поисках товарищей. Публика на лекции вечером была малочисленна и инертна; после пришлось долго ехать до усадьбы товарища, где Саша остановился. Смертельно уставший и слабый, он провалился в тяжёлый сон. Проснулся посреди ночи и с ужасом обнаружил незнакомца, храпящего рядом. Годы одиночного заключения превратили близость другого человека в пытку. Саша выбежал из дома на просёлочную дорогу в поисках укрытия, где мог бы побыть один. Но он не находил покоя, не мог отделаться от мысли, что стал непригоден для жизни. И Саша решил покончить с ней.

Утром он пошёл в город и купил револьвер. Саша решил отправиться в Буффало. Там его никто не знает, никто не разоблачит при жизни, не хватится после смерти. Он бродил по городу день и ночь напролёт, но какая-то непреодолимая сила тянула его в Нью-Йорк. Наконец он приехал туда и провёл двое суток, кружа возле дома 210 по 13-й Восточной улице. Он боялся столкнуться с кем-то знакомым и всё же не мог уйти. Возвращаясь в свою убогую комнатку на Бауэри, он доставал револьвер, собираясь поставить точку. Как-то раз Саша пошёл в соседний парк, намереваясь довести дело до конца. Наблюдая за играющими детьми, он возвращался мыслями к прошлому и к своей «морячке». «Тогда я понял, что не могу умереть, не увидев тебя снова», — заключил он.

Я слушала не дыша, боясь прервать его рассказ. Сашин внутренний конфликт был настолько подавляющим, что муки неизвестности трёх последних дней казались мне пустяком. Я испытывала бесконечную нежность к человеку, который умер тысячей смертей и снова пытался уйти из жизни. Меня обуревало желание побороть зловещие силы, преследовавшие моего несчастного друга.

Я протянула Саше руку и умоляла вернуться домой. «Дорогой, там только Стелла, — уговаривала я его, — и я прослежу, чтобы никто тебя не беспокоил». В квартире оказались Стелла, Макс и Бекки, с нетерпением ожидавшие нашего возвращения. Я провела Сашу коридором в свою комнату и уложила в постель. Он уснул, как уставший ребёнок.

Саша провёл в кровати несколько дней, большую часть времени он спал, а в недолгие часы бодрствования едва понимал, что происходит. Макс, Стелла и Бекки помогали ухаживать за ним; больше никто не смел нарушать покой в моей квартире.

Группа молодых анархистов организовала собрание, чтобы обсудить Леона Чолгоша и его поступок. На этой встрече схватили троих парней. Я ничего не знала об этом, пока ранним утром меня не разбудил настойчивый звонок в дверь и сообщение об аресте. Мы немедленно созвали митинг против подавления свободы слова; заявленными ораторами были Болтон Холл, Гарри Келли, Джон Кориелл, Макс Багинский и я. В назначенный вечер Саша, который пошёл на поправку, тоже захотел участвовать. Опасаясь, что он снова расстроится, я убедила его вместо этого сходить со Стеллой в театр.

Когда я, Макс и Кориеллы вошли в зал, там было мало зрителей, окружённых полицейскими, стоявшими вдоль стен. Молодой Юлиус Эдельсон, брат Бекки, арестованный на прошлом митинге и выпущенный под залог благодаря Болтону Холлу, только поднялся на сцену. Он не проговорил и десяти минут, как начались беспорядки; несколько полицейских бросились вперёд и стащили Юлиуса со сцены, остальные атаковали толпу, выбивая стулья из-под зрителей, хватая девушек за волосы и избивая дубинками мужчин. Вопя и ругаясь, публика рванула к выходам. Когда мы с Максом добрались до лестницы, один полицейский сильным ударом чуть не столкнул его вниз, другой стукнул меня по спине и заявил, что я арестована. «Тебя-то нам и надо! — заревел он. — Уж мы научим тебя протестовать!» В патрульной повозке я оказалась в компании одиннадцати «опасных преступников», молодых парней и девушек, членов протестной группы. Болтон Холл, Гарри Келли и Кориеллы каким-то образом избежали жестокости полиции. До предъявления обвинений нас отпустили под залог.

У нашего ареста был один положительный результат: он немедленно поднял Сашин боевой дух. «Я восстал из мёртвых! — воскликнул он, услышав о том, что случилось на митинге. — Теперь есть работа для меня!» Радость по поводу Сашиного возрождения в сочетании с тревогой за арестованную молодёжь придали мне энергии и сил. Вскоре мы подготовились к борьбе, пригласив Хью Пентикоста и Мейера Лондона в качестве юрисконсультов и получив серьёзную материальную поддержку от наших американских и зарубежных друзей. Уже на предварительных слушаниях стало очевидно, что у них на нас ничего нет, но окружной прокурор всеми силами стремился к славе. А как ещё можно прославиться, если не спасая город от анархистов? Теперь, когда появился Закон о преступной анархии, это было проще простого. Судья был не прочь встать на сторону окружного прокурора, но большинство преступных анархистов, стоящих перед ним, выглядели крайне молодо и безобидно, и его честь сомневался, что присяжные признают их вину. Чтобы не ударить в грязь лицом, он отложил дело «для дальнейшего разбирательства».

Хотя я предпочитала определённую в подобных вопросах, такая отсрочка была бы кстати, если бы у меня оставалась возможность продолжать читать лекции. Но полиция продолжала устраивать рейды на все англоязычные анархистские мероприятия — не так прямолинейно, как при разгоне митинга, а более коварным способом. Они запугивали владельцев залов, практически лишая меня возможности выступать в любом публичном месте Нью-Йорка. Даже такое невинное мероприятие, как бал-маскарад, устроенный для

сбора средств на издание Mother Earth, было сорвано. Пятьдесят полицейских вошли в зал и, начав срывать с людей маски, приказали убираться. Поняв, что спровоцировать беспорядки не удаётся, они заставили владельца закрыть зал. Это принесло огромные убытки.

Мы учредили Клуб Mother Earth, каждую неделю читали лекции на разные темы и иногда ставили мюзиклы. Полицейские были в ярости, они преследовали нас девять недель, но мы не сдавались. Им нужно было совершить что-то более резкое и устрашающее, дабы сохранить святыне институты правопорядка. Следующий выпад власти сделали на митинге, где должны были выступить Александр Беркман, Джон Кориелл и Эмма Гольдман. Все ораторы были арестованы. Забрали заодно, чтобы получился квартет, одного преступного анархиста пятнадцати лет, который случайно оказался возле двери. Я собиралась прочесть лекцию «Неверное толкование анархизма», с которой выступала две недели назад в Философском обществе Бруклина. Там были сыщики из вновь созданного антианархистского отряда полиции, но арестов не последовало. Было очевидно, что они не смели вмешаться в мероприятие неанархистского общества, даже если выступала Эмма Гольдман. Это могло бы научить бруклинских философов, что не анархизм, а департамент полиции уничтожает ту толику свободы, что ещё оставалась в Соединённых Штатах. По дороге в полицейский участок старший инспектор антианархистского отряда поинтересовался, не хочу ли я прекратить свою агитацию. Когда я ответила, что теперь ещё более решительно настроена продолжать, он сообщил, что впредь меня будут арестовывать каждый раз, как я попытаюсь выступить на публике.

Какое-то время казалось, что Саша действительно обрёл себя и снова готов вместе со мной жить и бороться. С того дня, как нас арестовали, его охватила жажда деятельности, но через два месяца его энтузиазм сменился унынием, которое не отпускало его с момента выхода из тюрьмы. Саша считал, что главной причиной депрессии была материальная зависимость от меня, которая его раздражала. Чтобы помочь ему, я убедила одного хорошего товарища одолжить Саше немного денег на открытие маленькой типографии. Это приободрило Сашу, и он начал усердно работать над развитием этого предприятия. Вскоре он собрал полный комплект своего печатного оборудования, что позволило ему принимать небольшие заказы. Но счастье было недолгим — Саша столкнулся с новыми трудностями. Он не смог получить ярлык профсоюза, поскольку как наборщику ему было запрещено выполнять работу печатника, а нанимать печатника было бы эксплуатацией. Он оказался в той же ситуации, что и я со своим массажным кабинетом, и, вместо того чтобы жить за счёт труда других или работать вне профсоюза, он забросил свою мастерскую. И вновь вернулись прежние страдания.

Постепенно я начала понимать, что Сашу гложет не вопрос заработка, а нечто более глубокое и горькое для осознания: контраст между его царством грёз 1892 года и моей реальностью 1906 года. Мир идеалов, который он унёс с собой в тюрьму в двадцать один год, нарушил ход времени. Возможно, и к лучшему; это было его духовной поддержкой на протяжении ужасных четырнадцати лет, звездой, освещавшей мрак тюремного существования. Это добавило красок его умозрительному представлению о внешнем мире: о движении, друзьях и особенно обо мне. За это время жизнь меня здорово покалечила, бросила в поток событий, и нужно было либо плыть, либо утонуть. Я больше не была маленькой «морячкой», чей образ Саша принёс из прошлого. Я была женщиной тридцати

семи лет, которая сильно изменилась. Я больше не подходила под старый шаблон, как он того ожидал. Саша увидел и почувствовал это почти сразу по освобождении. Он старался понять зрелую личность, в которую выросла неопытная девочка, не смог этого сделать и стал обижаться, критиковать и зачастую осуждать мою жизнь, мои взгляды и моих друзей. Он обвинял меня в интеллектуальной отстраненности и революционной непоследовательности. Каждая колкость с его стороны задевала меня за живое и заставляла оплакивать мою горе. Часто мне хотелось убежать и никогда больше его не видеть, но меня удерживало нечто большее, чем боль: память о его поступке, за который он один заплатил такую цену. Всё отчётливее я понимала, что до последнего вздоха это останется самым сильным звеном цепи, которой мы были связаны. Память о нашей молодости и любви может угаснуть, но его четырнадцать лет на Голгофе навсегда останутся в моём сердце.

Выходом из этой плачевной ситуации стала насущная необходимость ехать в турне, чтобы собрать средства на Mother Earth. Саша мог остаться за ответственного редактора журнала, это помогло бы ему освободиться от чувства неловкости и обрести свободу самовыражения. Он ладил с Максом, а помочь ему могли привлечённые авторы: Вольтарина де Клер, Теодор Шрёдер, Болтон Холл, Ипполит Гавел и другие. Саша с радостью согласился, и было облегчением видеть, что он и не подозревает, как тяжело мне уезжать так скоро после того, как он ко мне вернулся. Сашино освобождение: я так напряжённо его ждала и теперь не могу даже быть с ним в первую годовщину с того знаменательного дня.

Смерть Хью Пентикоста потрясла всех, кто знал и ценил этого человека и его деятельность. Эту ужасную новость принесли газеты, его вдова нам ничего не сообщила. Пентикост свято верил в кремацию как прекраснейший метод избавиться от человеческих останков. Абсолютно все ожидали, что его кремируют, и многие друзья собирались посетить церемонию и отправить цветы. Велико же было наше удивление, когда мы узнали, что Хью Пентикоста похоронили, и церемония прошла в соответствии с религиозными обрядами. Это была злая ирония, учитывая, что единственная вещь, которой Хью был предан всю свою жизнь, это свободомыслие. Его политические взгляды менялись неоднократно: борец за единый налог, социалист, анархист — он был приверженцем этих течений в разное время. Другим было его отношение к религии и церкви. Он отрёкся от них окончательно и бесповоротно и стал убеждённым атеистом. Поэтому присутствие священника на его похоронах было худшим надругательством над его памятью и оскорблением для его друзей-вольнодумцев. Казалось, воплотился его подсознательный страх, о котором Пентикост часто говорил мне: «Очень трудно достойно жить, но ещё труднее достойно умереть». Ещё он постоянно твердил, что «любви избежать тяжелее, чем ненависти». Он имел в виду ту любовь, которая сковывает нежными руками и ласковыми словами прочнее, чем цепи. Его неспособность вырваться из «нежных рук» и была причиной постоянной перемены социальных взглядов Пентикоста. Она довела его до предательства памяти чикагских анархистов: он был самым яростным их защитником, пока амбиции не подвигли его занять должность помощника окружного прокурора Нью-Йорка. «Я мог заблуждаться, — заявил он тогда, — полагая, что хеймаркетский процесс был ошибкой правосудия». Ни при жизни, ни после смерти Хью Пентикосту не дано было остаться верным самому себе.

Наша работа во благо России обрела новое дыхание с приездом Григория Гершуни. Он сбежал из Сибири в бочке из-под капусты и прибыл в Штаты через Калифорнию. Гершуни был школьным учителем и верил, что только образование масс поможет России избавиться от гнёта Романовых. Долгие годы он был ярким толстовцем, выступавшим против любых форм активного сопротивления. Но непрерывное противодействие и жестокость деспотизма со временем доказали Гершуни неизбежность методов, которые использовали воинствующие революционеры в его стране. Он присоединился к Боевой организации партии социалистов-революционеров и стал в ней одной из центральных фигур. Его приговорили к смерти, однако заменили казнь на пожизненную каторгу в Сибири.



Григорий Гершуни

Григорий Гершуни, как и все великие русские, которых я встречала, был трогательно прост, крайне сдержан в рассказах о своей героической жизни и был готов поступиться личными интересами ради освобождения простых людей. Кроме того, он обладал тем, чего не хватало многим русским бунтарям: живым, практичным умом, точностью и ответственностью за выполнение взятых на себя обязательств.

Я часто виделась с этим исключительным человеком во время его пребывания в Нью-Йорке. Он рассказал, что его невероятный побег был организован при содействии двух молодых анархистов. Работая в тюремной столярной мастерской, они искусно просверлили незаметные дырочки, чтобы Гершуни мог дышать, а после закрыли его внутри. Гершуни неустанно восхвалял этих парней за преданность и смелость, таких юных, но уже не по годам мужественных и надёжных в своём революционном рвении.

Примерно в то же время мы начали готовиться к первой годовщине Mother Earth. Казалось невероятным, что журнал пережил все невзгоды и трудности последних двенадцати месяцев. Неспособность ряда нью-йоркских литераторов выполнить обещание писать для него была лишь одним из проклятий, которые преследовали моё дитя. Сперва они были увлечены, пока не поняли, что Mother Earth выступает за свободу и изобилие жизни как основу искусства. Для многих из них искусство означало уход от реальности; как они могли поддерживать то, что провозглашало торжество жизни? Они бросили новорождённого на произвол судьбы. На их место пришли люди более смелые и вольные духом, среди них — Леонард Эббот, Садакити Гартманн, Элвин Сэнборн. Все они считали жизнь и искусство побратимами пламени революции.

Когда мы преодолели эти трудности, появились новые: осуждение со стороны моих соратников. Они заявляли, что Mother Earth был недостаточно революционным, так как рассматривал анархизм не как догму, а как идеал освобождения. К счастью, многие товарищи оставались на моей стороне, щедро финансируя издание журнала. Мои собственные друзья, в том числе не анархисты, тоже искренне поддерживали издание и меня во всех битвах, которые я вела против постоянного полицейского преследования. В целом это был богатый и плодотворный год, сулящий Mother Earth большое будущее.